Александр Ливергант

Поиски за утраченным временем

М. Пруст *Сторона Германтов* / Перевод с французского, предисловие, примечания Е. Баевской. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2020. — 672 с.

На приеме у маркизы Вильпаризи велеречивый Легранден, отмечая присущие маркизе “ясную стремительность и запечатленную мимолетность”, отпускает хозяйке дома, сославшись на полузабытого писателя-моралиста Жозефа Жубера, изысканный комплимент: “Ваши слова дружны с памятью”.

Наблюдения — а лучше сказать самонаблюдения — Пруста, в которых пронзительная толстовская зоркость соседствует с ассоциативным метафорическим мышлением (не это ли свидетельство универсализма, всеохватности писателя), с памятью также “дружны”, запоминаются надолго. И это притом, что проза Пруста сродни мощному неудержимому потоку, который несет в себе бесконечное многообразие и переплетение тем, сюжетов, явлений, психологических и иронических зарисовок, привычек, особенностей, предрассудков многочисленных персонажей. Каким только рассуждениям чувствительного и проницательного ума не находится место в “Германтах”, да и в любой другой из семи книг грандиозного прустовского романного цикла.

О чем только писатель не высказывается! О светском этикете и деле Дрейфуса, о женщинах легкого поведения и дипломатии, опере и военном деле, о снах, поцелуях, истории, медицине, евреях, театре, кастовом снобизме, модах, финансах, ресторанах, актерском и литературном мастерстве и изобразительном искусстве, в котором Пруст разбирался не хуже Сванна.

Рассуждения, впечатления и воспоминания автора-героя, от чьего лица ведется повествование во всех семи романах “Поисков”, дружны с памятью главным образом потому, что человек, история, нравы раскрываются в них с неожиданной, непривычной стороны. Пруст, в отличие от Джойса или Вирджинии Вулф, не ищет новые темы, не изобретает новый литературный язык, новый взгляд на мир, но раскрывает традиционные темы в непривычном ракурсе,

© Александр Ливергант, 2021

отчего его проза может одновременно считаться и традиционной, и новаторской.

Непривычный, парадоксальный взгляд на вещи — это то, что бросается в глаза в "Германтах", как и в других романах "Поисков", с первых же страниц. "Я и сам так трудно осваивался со всем новым, хотя со старым расставался легко", — читаем несколько необычное признание рассказчика в самом начале книги, и это признание словно бы задает тон философским и психологическим прозрениям в романе. Человек с равнодушием относится к печалям другого, читаем чуть ниже, именно потому, что и сам чувствует то же самое. И эта мысль тоже вряд ли приходила нам в голову до Пруста. Как и мысль о том, что тишина, вместо того чтобы охранять наш сон, мешает уснуть. Рассуждая об актрисе Берма, Пруст высказывает очередную не очевидную, казалось бы, мысль: ее талант ускользал от него, когда он пытался добраться до самой его сути, "теперь же, спустя годы забвения, пробился сквозь мое безразличие, предстал мне со всей непреложностью". А ведь и здесь Пруст прав: когда интерес к человеку утрачен, он делается нам понятнее, как понятнее становится картина, когда отходишь от нее на несколько шагов; со временем наша оценка становится более, а не менее трезвой и взвешенной, не столь эмоциональной. Приходится, вдумавшись, согласиться и с тем, что "правда узнается не из того, что нам говорят... правда проявляется в каких-то невидимых глазу явлениях, подобных атмосферным изменениям в мире природы". И даже с тем, что "потеря одного из пяти чувств прибавляет миру столько же красоты, сколь и приобретение". Мысль вроде бы сомнительная, чтобы не сказать вздорная, но и ее Пруст разъясняет изящно и убедительно: до того, как человек оглох, шум был для него формой восприятия, теперь же, лишенный звукового сопровождения, он словно действует сам по себе...

Вчитаешься в кажущееся поначалу странным наблюдение, в необычную, порой даже извращенную логику мысли — и поневоле с писателем соглашаешься, отдаешь должное его интуитивным догадкам. Продуманная до слова, витиеватая проза Пруста предполагает поэтому углубленное чтение, перечитывание, переосмысление. Исповедальность, иронический комментарий, постоянные отступления, смелые открытия в области человеческих отношений и переживаний подчас требуют от читателя более глубокого постижения текста, чем широкий социальный фон, разработанная фабула и динамичный сюжет — все то, чем романы Пруста похвастаться никак не могут.

Еще одна значимая примета прустовского письма — метафора. Текст "Германтов" перенасыщен сложными, многоступенчатыми метафорами, что растягиваются порой на несколько абзацев, перетекают из одной в другую. Перечтем описание бенуара принцессы Германтской. Со лба

принцессы, лежащей на кушетке, алой, словно коралловая ветвь, ниспадает, "подобно какому-то морскому растению", большой белый цветок, похожий и на цветок, и на перышко, "пушистый, как птичье крыло", белый цветок "кокетливо, влюбленно" струится вдоль щеки, и щека прячется в нем, "как прячется розовое яйцо в мягком гнезде зимородка". Кушетка уподобляется алой коралловой ветви, цветок — морскому растению и одновременно птичьему крылу, щека — розовому яйцу в гнезде зимородка; метафоре нет конца — как нет конца поистине безудержному авторскому воображению.

Подобные "метафорические цепочки" с ярко выраженным антропоморфизмом ("стены стискивали комнату в объятьях", "вечер водружал на остроконечные крыши замка розовые облачка") — прямое следствие необычайно богатой и прихотливой (кушетка сопоставляется с коралловой ветвью!) ассоциативности литературного мышления Пруста. Игнорирующий публику в партере маркиз де Паланси уподобляется рыбе, проплывающей за стеклянной стенкой аквариума. Герцогиня Германтская, которую герой встречает на улице, запоминается ему "румяной щекой, перечеркнутой пронзительным глазом". Туман, "пропитавший очертанье холма" в Донсьере, куда герой приезжает к Роберу Сен-Лу, ассоциируется со вкусом шоколада — как тут не вспомнить достопамятное печенье "Мадлен" из "В сторону Сванна"? Небеса в окне гостиницы в том же Донсьере ассоциируются с "грубой синей бумагой", а благородный профиль немолодой светской дамы в салоне маркизы де Вильпаризи — с "потрескавшейся богиней в парке на замшелом треугольном цоколе".

Многословие, нескончаемые, запутанные лабиринты авторской мысли, его чувств, воспоминаний, впечатлений (не случайно герой "Поисков" в последнем, седьмом, романе цикла сравнивает свое творение с готическим собором) сочетаются — еще одна парадоксальная особенность прустовской прозы — со скупой, образной характеристикой персонажа, его внешности, нрава, образа мыслей, поведения. Искусством такой мельком набросанной, но метко схваченной портретной зарисовки, в том числе и карикатурной, писатель — равно как и его переводчица — владеет виртуозно, и эта грань литературного дарования Пруста также роднит его с Толстым.

На лице Франсуазы можно прочесть "заготовленное впрок" сочувствие точно так же, как на лице маленькой княгини играет "светлая улыбочка", отчего гостям Анны Павловны Шерер "казалось, что они сами делаются похожи на нее". Когда Франсуаза что-то скрывает, то делает такое движение губами, "будто дожевывает кусок" (а у Хаджи-Мурата, когда он спал, "оттопыренная, как у детей... верхняя губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь"). Маркиза Вильпаризи с "ледяным величием", с лицом, омраченным "брюзгливой гримасой", в точ-

ности, как Анна Павловна, “угощает своих гостей” историком Фронды и посланником господином де Норпуа, точно так же тщательно “заводит равномерную, приличную разговору машину”. Светская львица герцогиня Германтская, вздорная красавица, которая, вспомним толстовскую Элен Курагину, “как будто желала и не могла умалить действие своей красоты”, видит некую изысканность в том, чтобы в обществе поэта или музыканта рассуждать только о блюдах и игре в карты. А ее муж, обаятельный болван сродни толстовскому “милому” князю Ипполиту, сочетает в своем поведении “трогательную учтивость и возмутительное бездушие”, он не расстается с заветной записной книжечкой с цитатами, которую перечитывает перед большими приемами и куда записал новое для себя слово — ментальность: “Ментальность мне нравится”. Его собственная ментальность едва ли кому может понравиться: с присущим ему “возмутительным бездушием” и, добавим от себя, природной глупостью он не стесняется говорить смертельно больному Сванну о недомоганиях жены и своих собственных, жаловаться, что после поезда он “очень неудачно пообедал”, и сокрушаться, что его жена надела черные туфли с красным платьем: “Элегантнее, когда платье и туфли одного цвета”.

Прямой речи в описательной, недиалогичной прозе Пруста (“Что толку в книжке, — рассуждает Алиса в Стране чудес, — если в ней нет ни картинок, ни разговоров”) совсем немного, но в чуткости к чужому слову Прусту не откажешь. Сен-Лу говорит “смотрится” вместо “выглядит”, та же Франсуаза придает слову “интересный” “омерзительно новый смысл”: “горы — это ничуть не интересно”. Непогода вызывает у нее скорбное восклицание: “Гнев Господень, и больше ничего!” Г-жа де Вильпаризи изъясняется с претензией на “простонародный говорок”. “Ориана очень не любит женских разговоров, — запальчиво защищает герцог Германтский нелюбимую, давно надоевшую жену. — Она царит среди высших умов, а я у нее... доверенный слуга” — отличное словосочетание, интересно, что там по-французски? Жена герцога, которую угораздило сесть за обедом рядом со “зловонным” академиком господином де Борнье, после ухода которого приходилось дезинфицировать столовую формалином, так выражает свои чувства: “Мне казалось, что мой сосед — эскадрон жандармов... я дышала только над грюйером”. А вот как выражается в своем громоподобном монологе уже упоминавшийся златоуст и резонер Легранден: “Если вы способны дышать в тошнотворной, невыносимой для меня атмосфере салонов, вы сами себе выносите приговор... Я с другой планеты... вас тянет на кушанье с душком...”

Несмотря на все эти примеры, назвать Марселя Пруста, равно как и Толстого, сатириком едва ли правомерно: грани его творчества не в пример шире, язвительными наблюдениями, карикатурными

портретами, "иронией холодной и осторожной" (процитируем Пушкина) его вклад в литературу, конечно же, не исчерпывается. Вместе с тем Пруст со свифтовской беспощадностью срывает покровы, ирония, насмешка, скепсис занимают в "Поисках", в том числе и в "Германтах", заметное место.

Есть в романе эпизоды, реплики откровенно смешные. Похожий на церемониймейстера дворецкий сообщает принцессе Пармской "мадам, кушать подано" таким тоном, будто говорит: "Мадам, настал ваш последний час". А есть, и их немало, свидетельства горького, скептического взгляда писателя на жизнь, на отношения между людьми, на низкую цену дружбы, любви, привязанности, взаимопомощи, на свойственные едва ли не каждому малодушие, лицемерие, подозрительность, страх. Обманчива иллюзия, убежден Пруст, даже самой "ласковой близости"; с любимыми нас разделяет огромное расстояние в тот самый миг, когда кажется, "стоит лишь руку протянуть, чтобы их удержать". Дружеские и родственные отношения, по Прусту, устойчивы лишь с виду, на самом же деле они "переменчивы, как море". Этой невеселой мыслью Пруст делится с читателем не раз. Мы плохо разбираемся в людях, считает писатель, поглощены собой, легко теряем голову, воображаем по наивности, подобно Роберу Сен-Лу, девицу легкого поведения недоступным божеством (тоже, кстати, сквозной мотив: Сванн и Одетта) и не только не смеем "дождаться увенчания страсти", но даже не надеемся на первый поцелуй. И то сказать, любовь неотделима от страдания, здесь Пруст Америки не открывает, сравнение любви с болезнью — постоянный мотив многих романов конца позапрошлого века, не только прустовских.

Умение вести себя в обществе, владеть собой, предостерегает Пруст — а ведь он ко всему прочему и морализатор, — еще ни о чем не говорит, хорошее воспитание не стоит понимать слишком буквально: многие светские дамы самого высокого полета "быстро впадают в распутство", при этом заученных в детстве хороших манер не забывают. Ханжество, учит Пруст, правит миром — во всяком случае миром аристократии. Принцессу Пармскую с детства учили помогать обездоленным, но ни под каким видом не ронять своего сана, не приглашать неимущих к себе, свести общение с ними до минимума; это не пойдет им на пользу, втолковывали ей, а только "пошатнет твой престиж и тем уменьшит действенность добрых дел".

Принцесса оказалась способной ученицей: чуть ли не силой поднимает она коленопреклоненную гостью и с несравненной лаской и благосклонностью целует ее в обе щеки, "словно оделяя благословением". Обязательное условие ласки принцессы — смирение, с каким гостья преклонила колено; нет смирения — нет ласки. Высший свет притягивает к себе и Пруста, и его героя. Вне зависимости от воз-

раста рассказчик вращается в свете не без удовольствия, хотя, как правило, хранит молчание (в салоне маркизы де Вильпаризи, описание которого занимает в "Германтах" не одну сотню страниц, он за весь вечер не произносит ни слова); ему льстят внимание и похвалы сильных мира сего, однако цену Германтам, Шарлюсам, Курвуазье он знает — и нисколько не обольщается на их счет.

Да и вообще не обольщается на счет своих героев, умных и глупых, талантливых и бездарных, близких герою, как мама, бабушка, Франсуаза, Сен-Лу, или далеких, вздорных, непредсказуемых, сосредоточенных на себе вроде Блока, посланника де Норпуа, Леграндена, барона де Шарлюса, — вне зависимости от того, голубая у них кровь или какого-то другого цвета. Всех, кто плывет в потоке Времени, главном герое гигантского литературного проекта Пруста. Мы говорили, как велико в поэтике Пруста значение метафоры, ассоциаций. Так вот, метафора, в сущности, заложена и в замысел всего семитомника: герой и автор всеми силами пытаются сохранить, вернуть "утраченное" время.

Или все же не утраченное? Назвал же прустовский цикл его первый переводчик Адриан Антонович Франковский (1888–1942) "Поисками *за* утраченным временем". Не вносит ли Франковский такой несколько архаичной интерпретацией названия (поиск за — то есть погоня за) в замысел Пруста определенный заряд оптимизма? Нельзя же гнаться за тем, чего нет. Назвал ведь Пруст последний седьмой роман "Обретенное время"; "погоня", в конечном счете, увенчалась успехом.

А для нас, сегодняшних поклонников Марселя Пруста, еще только увенчается: "Сторона Германтов" — пока лишь третий роман цикла, безупречно, как и предыдущие два, переведенный Еленой Баевской.

На очереди "Содом и Гоморра" в ее же исполнении.